

Ветухов А. В. Язык эльберфельдских лошадей, «грамотных, мыслящих», и язык человека: [Рец. на:] *Погодин, проф.* Язык как творчество. Харьков, 1913 // Богословский вестник 1913. Т. 3. № 9. С. 174–205 (3-я пагин.).

III.

„Язык“ эльберфельдскихъ лошадей „грамотныхъ, мыслящихъ“ и языкъ человѣка.

(По поводу книги проф. *Погодина* „Языкъ какъ творчество. (Психологическія и социальныя основы творчества рѣчи). Происхожденіе языка“.— 4-й т. „Вопросовъ теоріи и психологіи творчества“. Харьковъ 1913 г. Ц. 2 р. 50 к.—560 стр.).

„Ни одинъ фактъ не долженъ быть разсматриваемъ какъ обманъ, только потому, что онъ противорѣчитъ господствующему воззрѣнію“.

Основа, на которой покоится изслѣдованіе проф. Погодина,—все еще могучая и модная научная теорія эволюціонная, понимаемая по шаблону—какъ всепроникающая, всеобъясняющая. Нѣтъ сомнѣній, что совершенствованіе (развитіе, эволюція) и д. б. во всемъ, на то вѣдь человѣкъ—вершина земного міра—сотворенъ „по образу и по подобию Божію“, на то у него свободная воля, разумъ и даръ рѣчи. Однако, совершенствованіе это идетъ въ извѣстныхъ замкнутыхъ кругахъ: какъ бы ни совершенствовалась неорганическая природа (приспособленіе къ условіямъ жизни, видоизмѣненія разновидностей и т. п.), она никогда органической не станетъ. (Можно подыскать виды—особи органической и неорганической природы, грань между коими почти неуловима, но все же тончайшій, глубочайшій, съ усовершенствованными орудіями, изслѣдователь ее обнаружить). Такъ и грань между животнымъ и человѣкомъ, (образно и ярко указанная въ „книгѣ книгъ“, затупеванная могучей теоріей Дарвина (скорѣе, пожалуй, даже не лично имъ ¹⁾), а его не въ мѣру усердными послѣдователями): ясная для человѣка, стоящаго на почвѣ чистой религіи, или живущаго гармоничнымъ

¹⁾ Вѣдь не даромъ говорятъ, что этотъ великій позитивистъ имѣлъ два кабинета въ одномъ родились его труды о „происхожденіи видовъ“ и проч., а въ другомъ... онъ молился.—Да и надпись въ вестибюлѣ „иллюстрацій биологическихъ законовъ“ (филиетическій музей въ Іеиѣ основанный Геккелемъ, однимъ изъ крупныхъ послѣдователей Дарвина для выясненія его теоріи)—характерна: „кто обладаетъ наукой и искусствомъ, тотъ обладаетъ также и религіей, а у кого нѣтъ ни того, ни другого, пусть имѣетъ религію“.

сочетаніемъ разума и сердца, въ послѣднее время стала было твердо очерчиваться и въ специально-научныхъ работахъ глубокихъ изслѣдователей языка, психологовъ-философовъ. ¹⁾ Сознательное творчество—доступное лишь для существъ, одаренныхъ разумомъ, даромъ рѣчи, ведущимъ къ выработкѣ отвлеченнаго мышленія, понятій—вотъ что стоитъ на пути животнаго къ человѣку, вотъ та непреодолимая грань. Животное м. б. гораздо *умнѣе* (т. е. обладать памятью—этой высшей изъ мыслительныхъ способностей животнаго — въ гораздо большей степени,—какъ напр. лошадь и особенно слонъ, —чѣмъ человѣкъ), но обобщающей силы разума въ немъ—ни капли; сколько бы ни учили слона различать, скажемъ, березу и сосну вообще, никакими усилиями нельзя добиться, чтобы онъ остановился у березы, у которой еще ни разу дотолѣ не останавливался, хотя у тысячи березъ, имъ раньше видѣнныхъ, онъ при известной дрессировкѣ остановится—что въ свою очередь почти недоступно для человѣческой памяти.

Въ самое послѣднее время эта грань, столь ярко блеснувшая на льдистыхъ вершинахъ отвлеченной мысли, согрѣтыхъ жаркимъ солнцемъ человѣческой пытливости и любви къ ближнему,—снова затянулась флеромъ „естества“. Исторіи науки хорошо знакомы эти приливы и отливы научныхъ міровоззрѣній. Естество дожило до своей кульминаціонной, вершинной точки, до своего девятого вала, и все же для него доставляются чистой наукой совершенно необъяснимые факты. Проще всего, конечно, отмахиваться отъ того, что не укладывается въ известныя рамки, какъ отъ „ненаучнаго“ ²⁾ и отцугивать отъ него другихъ этимъ жупеломъ для *dii minoris* отъ науки и для т. наз. интеллигенціи въ ходячемъ смыслѣ слова. А не укладывается на это прокрустово ложе все, что близко наукамъ отвлеченнымъ, чего нельзя „испытать“. Исторія науки и отмѣчаетъ, что „девятый валъ“ естествознанія совпадаетъ съ упадкомъ интереса къ чистой математикѣ — пути къ философіи, къ чисто-гуманитарнымъ наукамъ, къ религіи. А здѣсь-то и творятся ловые пути

¹⁾ Затѣмъ и физико-химиковъ и наконецъ у биологовъ—см. статью *И. Лукашевича* „Соврем. состояніе дарвинизма кризисъ“ (въ „Русск. Мысли“ за 1913 г. кн. VIII, с. 31—54.

²⁾ Какъ будто наука имѣетъ только одинъ какой-то непререкаемый методъ, основу, догму. Вѣдь она-то и д. б. наиболѣе эволюціонна.

научнаго изслѣдованія, создаются новыя гипотезы, теоріи, коими движется вся наука вообще, а въ частности и естествознаніе, которое, — какъ это ни странно, — стало возможнымъ лишь послѣ появленія христіанства; его не было ни въ высоко развитой гуманитарно Элладѣ, ни въ строго — юридическомъ закономѣрномъ Римѣ; вѣдь нельзя же Плинія считать собратомъ Дарвина, да, сколько извѣстно, и сами естественники далеки отъ этого.

Начиная чувствовать, какъ у него уходитъ изъ-подъ ногъ почва благодаря разнымъ „проклятымъ“ вопросамъ, естествознание налегло всѣми силами на разрушеніе вышеупомянутыхъ граней между человѣкомъ и животныхъ. Одно время сильно шумѣлъ Гарнеръ со своимъ языкомъ обезьянъ, для которыхъ онъ устроилъ цѣлую школу „грамоты“, (принимая градацію ихъ криковъ за рѣчь), но о ней скоро забыли, т. к. результаты оказались слишкомъ незначительны. А въ самое послѣднее время все еще шумятъ споры по поводу т. наз. „умныхъ и грамотныхъ“ ¹⁾ лошадей д-ра Кралла, оказавшихся замѣчательными математиками, далеко превзошедшими въ области напр. извлеченія корней своего учителя.

Тутъ мы въ вилотную подошли къ кардинальному вопросу: психика животныхъ и людей различна лишь по количеству или по существу? (Въ области естествознанія вѣдь теперь ужъ нѣтъ качественного анализа, все сведено къ количественному). Если это различіе не существенное, то стоитъ лишь произвести тѣ или иныя операциі надъ органами рѣчи, какъ то полагалъ профессоръ, обучавшій обезьянъ, и высшія по крайней мѣрѣ животныя заговорятъ и сравнятся съ людьми.

У этого столба, между двухъ огней, остановился и проф. Погодинъ. Здѣсь—все существо, вся суть его книги, все же исполненной противорѣчья.

Прежде чѣмъ перейти къ слѣдованію за выясненіемъ этого основного вопроса по книгѣ проф. Погодина, я позволю себѣ ознакомить въ самыхъ краткихъ чертахъ съ приѣмами обученія этихъ пресловутыхъ „разумныхъ“ лошадей.—Вотъ ихъ „азбука-постукиваніе“, на нѣмецкомъ алфавитѣ:

¹⁾ Считавшихся способными на человѣческую, сознательную творческую мысль, т. к. невѣ звуковой сторонѣ современное языкознаніе полагаетъ сущность вопроса (на это очень способны напр. и птицы), а въ духовной.

	1	2	3	4	5	6
10	eE	nN	rR	sS	mM	cC
20	aA	hH	lL	tT	äÄ	ch
30	iI	dD	gG	wW	jJ	sch
40	oO	bB	fF	kK	öÖ	yY
50	uU	vV	zZ	pP	üÜ	
60	ei	au	eu	xX	qQ	

Лошади ударяют копытомъ о доску число единицъ—правой ногою, число десятковъ—лѣвой, сотенъ—правою и т. д. (напр. 345 = 3 р.—правой, 4 р. — лѣвой и 5 р. — правой; буква f = ударъ лѣвой 4 раза и правой—3 раза). Обучение основано почти исключительно на слухѣ (т. к. есть „грамотная“ лошадь и слѣпая) и его ассоціаціяхъ; при участіи зрительныхъ комбинацій (для не слѣпыхъ, конечно), дѣло идетъ далеко впередъ. Такъ напр. на вопросъ: „чего ты желаешь?“, лошадь выстукиваетъ—„пишетъ“: „Hfr hbn=Hafer haben, т. е. буквально „овесъ имѣть“¹⁾).

Передъ нами наличность своего рода „чуда“, и надъ нимъ пронесли уже въ короткое время всѣ стадіи отношенія человѣка къ подобнымъ явленіямъ, въ родѣ напр. спиритизма, медиумизма и мн. др., выходящимъ за предѣлы нормы: сторонники увѣровали и превознесли, скептики отвергли, заподозрѣли ложь и обманъ; въ столкновеніи этихъ теченій исподволь выяснялась истина: признали фактъ, но объяснили знаками, подаваемыми лошадямъ хозяиномъ умышленно, позже—безъ умысла, произвольно; далѣе выяснилась невозможность подачи какихъ-бы то ни было знаковъ: самъ д-ръ Кралль не умѣлъ напр. извлекать корней изъ многозначныхъ чиселъ ни устно, ни письменно, а его „ученики“ продѣлываютъ это очень быстро и безошибочно. Рѣшаютъ: обмана и знаковъ нѣтъ, но выполняются задачи „не нашимъ, не человѣческимъ способомъ“, (т. е. по-недавнему прошлому—силой „нечистой, дьяволомъ“ и т. п.). Надо поближе присмотрѣться къ этой за-

¹⁾ См. замѣтку по этому вопросу въ 32-мъ № „Природа и люди“ за ян. г., с. 500—503.

гадкѣ, подойти къ этой тайнѣ съ фонаремъ науки; перейти къ сопоставленію и сравненію съ болѣе обследованными, аналогичными явленіями въ сосѣднихъ областяхъ знанія, напр. съ наблюденіями надъ знаменитыми счетчиками— феноменами, вундеркиндами. Вотъ тутъ и оказалось, что даже ребенокъ 6 лѣтъ, не умѣвшій ни читать, ни писать, могъ производить быстро и безошибочно труднѣйшія числовыя операціи.

„Ничему не обучавшійся итальянскій 10-лѣтній мальчикъ Вито Манджамеле въ засѣданіи Парижской академіи наукъ извлекъ кубич. корень изъ 3796416 (= 156) въ полминуты“¹⁾.

„18-лѣтній, немного слабоумный слѣпорожденный Флери извлекаетъ въ умѣ квадратные корни и продѣлываетъ невѣроятныя вычислительныя операціи, очевидно, по какому-то собственному способу, т. к. обычные приемы ему неизвѣстны²⁾ и т. д. Оказалось, что подобныя умственныя операціи вовсе не требуютъ высокаго умственнаго развитія, что нерѣдко эти поразительныя счетныя способности дѣтскаго возраста пропадаютъ постепенно съ развитіемъ ребенка, иногда находятъ даже въ противорѣчій съ умственнымъ развитіемъ.

Такъ значить, и у Эльберфельдскихъ лошадей нѣтъ нужды допускать какое-то высшее, необыкновенное развитіе, ихъ близость къ разумному человѣку; онѣ именно ближе стоятъ къ человѣку въ пору его „малоразумія, малоумія“. И вся ихъ „наука“—лишь высшая дрессировка, механическое, машинное и потому автоматически—безошибочное выполнение актовъ, какъ и все инстинктивное, безъ участія сознанія и воли, тогда какъ обученіе даже на низшихъ ступеняхъ требуетъ умственной самодѣятельности. Очевидно, эти мозговые процессы находятся еще подъ порогомъ сознанія³⁾, доступны еще безсловесному творенію: ими завѣдуетъ гл. обр.—малый мозгъ и могутъ быть они всецѣло объяснены такъ наз. „ассоціативной памятью“, быть можетъ „высшими инстинктами“, тѣмъ болѣе, что по новѣйшимъ изслѣдованіямъ специалистовъ, ло-

1) См. „Природа и Люди“ № 32, н. г., с. 501.

2) *Иб.*

3) Въ болѣе-менѣе доступномъ изложеніи съ этимъ вопросомъ можно познакомиться хотя по книгѣ Waldstein „Подсознательное „я“ и его отношеніе къ здоровью и воспитанію:“ Москва. 1913 г.

шадь обладает очень большим мозгомъ, покрытымъ коркой, обуславливающей возможность богатыхъ и многочисленныхъ ассоціацій“ (ib). Ergo, лошадь „умнѣ“ человѣка, такъ же какъ „логическая машина“ логичнѣе человѣка, но никто же не поставитъ самую совершенную машину, созданную человѣкомъ, въ уровень съ творцомъ, ее созидающимъ,—человѣкомъ.

Въ этомъ направленіи идетъ и проф. Погодинъ, но такъ какъ ему почему-то кажется самымъ важнымъ вопросомъ о происхожденіи языка, теряющійся въ туманъ вѣковъ и гипотезъ, то и вся книга, опирающаяся на правильный принципъ: грань человѣка и животнаго—творчество въ словѣ—непрехождаема, постоянно впадаетъ въ неясности и противорѣчія, создаваемая преклоненіемъ передъ эволюціонной теоріей, по которой-де человѣкъ нѣкогда все же былъ животнымъ, и такимъ образомъ удаляется отъ Потебни, „славнымъ именемъ котораго автору такъ хотѣлось бы связать свой трудъ“ (въ „Предисловіи“), по которому по существу такъ мало отведено и мѣста и вниманія въ этой обширной книгѣ.

Разысканіе истоковъ, правда, заставило автора пройти по всему руслу рѣки, конечно, берегами ея, особенно тамъ, гдѣ она глубока и бурна, и въ этомъ ея основное достоинство и недостатокъ. Это провело передъ нашими глазами б. ч. обстоятельно и доступно изложенныя многочисленныя изслѣдованія въ этой области умовъ разнаго типа и разной подготовки, разныхъ научныхъ склонностей и освѣтило всю поверхность вопроса. А это въ свою очередь даетъ возможность заглянуть и въ глубь, въ существо духа языка тѣмъ, кто пожелаетъ этимъ заняться, безъ опасенія быть одностороннимъ.

„Наши общіе курсы по языкознанію совершенно минуютъ психологическую сторону вопроса: они берутъ языкъ какъ уже сотворенное, тогда какъ мнѣ представляется чрезвычайно важнымъ и нужнымъ приучить образованнаго лингвиста видѣть въ языкѣ прежде всего процессъ творчества. Обширная область психологіи должна, по моему убѣжденію, войти въ сферу общаго языкознанія, и этому своему пониманію я старался слѣдовать въ настоящемъ трудѣ“ (с. 1-я) ¹⁾. Къ сожалѣнію

¹⁾ Цитаты всюду (кромя тѣхъ, гдѣ добавлена передъ цифрой фамилія) изъ разнообразныхъ авторовъ привожу по Погодину.

только, на дѣлѣ, въ изложеніи, часть („психологія“) заполонила автора и незамѣтно стала на мѣстѣ цѣлаго („языкъ“).— Опредѣляя „объемъ задачи и методы рѣшенія ея“, проф. Погодинъ говоритъ, что языкъ человѣка есть постоянное творчество мысли, выраженіе самосознанія его (с. 3-я), гдѣ уже не совсѣмъ ясно выражено, творятъ ли одновременно и языкъ и мысль, или только послѣдняя неустанно, непрерывно бьется надъ созданіемъ и усовершенствованіемъ языка. Межъ тѣмъ безъ языка нѣтъ движенія мысли, а безъ мысли мертвъ языкъ. Нѣсколько далѣе становится уже яснѣе, что не на этой точкѣ стоитъ проф. Погодинъ: „слово является уже надстройкой надъ инстинктомъ... И душевнобольной афатикъ, теряя образы словъ, переставая говорить и понимать, еще сохраняетъ способность напѣвать арію, различать тоны. Прирожденный инстинктъ еще не утратилъ своей силы, но приобрѣтенныя знанія исчезли“ (с. 3-я). Очевидно, здѣсь плохо различаются съ одной стороны реальный процессъ *рѣчь* и *мысль* и *языкъ* (подобно греч. *λογος*) какъ продукты абстракціи отъ реального процесса, происхожденіе коего, подставленное на мѣсто „языка“, и разыскивается такъ усердно проф. Погодинымъ и длиннымъ рядомъ его предшественниковъ, по-преимуществу, „идолопоклонниковъ“ эволюціонизма. Поэтому-то все его вниманіе приковывается доказательствами вспомогательными, „отъ противнаго“: для него является существенно - важнымъ выясненіе проблемы инстинкта и вообще „тѣхъ особенностей, которыя отличаютъ душевную жизнь человѣка отъ животной“, которыя и являются причиною того, что человѣкъ говорить, а животное нѣтъ, что ни одно изъ нихъ не достигло способности *разнообразно* и *условно* выражать свои чувства и представленія“ (с. 5-я). Какъ будто бы животныя могутъ хотя и не разнообразно и не условно, какъ угодно, но безъ помощи словъ,—выражать свои представленія? Вѣдь внѣ словъ и знаковъ представленій нѣтъ и самыхъ представленій (этихъ — по старой терминологіи „знаковъ вещей“, какъ будто мы можемъ знать вещи и какъ-то иначе, помимо представленій). При такой постановкѣ вопроса становится болѣе—менѣе понятной и слѣдующая фраза Погодина: „подъ говореніемъ надо понимать въ данномъ случаѣ не внѣшнюю рѣчь, не внѣшнее выраженіе чувствъ и мыслей въ словахъ, но внутреннюю рѣчь, мышленіе

безъ словъ“ (с. 5-я), и напряженный интересъ его къ рѣчи глухонѣмыхъ, слѣпо-глухонѣмыхъ, афатиковъ, малоразумныхъ, экстатиковъ ¹⁾ и т. д., лишенныхъ, по мнѣнію проф. Погодина, этой *внутренней* рѣчи. „Мышленія безъ словъ“— нѣтъ [кромя тѣхъ случаевъ,—кои не захватываются книгою Погодина—и о которыхъ есть кое-что и у Овсянико-Куликовского, напр.—сверхсловесной духовной дѣятельности человѣка: въ математикѣ—попытки логическихъ актовъ безъ словъ и въ области художественнаго творчества, („мысль изреченная есть ложь“, „Silentium“ и т. п.) и особенно религіозной]. Погодинъ не мало посвятилъ выясненію этого вопроса, да и психологическая школа, которой придаетъ г. Погодинъ столь важное значеніе, не расходится съ нимъ въ этомъ вопросѣ: при всѣхъ усиліяхъ мыслить безъ „говоренія“, безъ соотвѣствующихъ „внѣшней“ рѣчи, артикуляціи органовъ, мы не можемъ; когда вздумали (была и такая попытка!) дѣтей отучить отъ „неправильнаго“ письма, ихъ заставляли писать съ прикушенными языками, и у бѣдной дѣтвора языки чуть не окровенялись, а ошибки все же не искоренялись. На этомъ основанъ между прочимъ опытъ „чтенія“, точнѣе было бы слышанія мыслей на довольно значительномъ разстояніи двухъ людей, сидящихъ въ совпадающихъ фокусахъ 2-хъ зеркалъ (см. подробнѣе въ моихъ „Заговорахъ“), и много другихъ извѣстныхъ фактовъ.—Трудно согласиться и съ тѣмъ, будто въ своемъ развитіи, не только эмбриональномъ, но и позднѣйшемъ, человѣческое дитя проходитъ черезъ тѣ этапы, черезъ которые проходило въ своемъ развитіи человѣчество... Инстинктъ созданія собственной рѣчи на столько силенъ у человѣка, что и позже, научившись говорить такъ, какъ взрослые, ребенокъ любитъ сочинять собственные слова, выдумываетъ иногда собственный языкъ, строеніе котораго напоминаетъ особенности языка дикарей“ (с. 6-я). Плохо это какъ-то вяжется со слѣдующими строками, приводимыми на той же страницѣ ниже: „Что же именно приобрѣлъ человѣкъ, научившись говорить или создавъ у себя внутреннюю рѣчь? Онъ получилъ слово, условный знакъ съ которымъ у каждого изъ насъ связываются *свои собственные представленія* и об-

¹⁾ Хотя смѣшивать въ одну кучу явленія дефективной психики и психики „типовъ возрастанія“ (см. ст. Флоренскаго) отнюдь не слѣдуетъ .

разы“, т. е. всякій разъ въ этомъ творческомъ актѣ вырабатывается нѣчто новое, личное, индивидуальное, небывалое до сихъ поръ и могущее быть близко схожимъ съ бывалымъ раньше лишь случайно. Но, конечно, съ точки зрѣнія П. и дѣтская рѣчь представляетъ глубокой интересъ“ для изслѣдователя одного изъ кардинальныхъ вопросовъ психологін, вопроса о происхожденіи человѣческаго языка“, какъ извѣстнаго состава звуковъ (а не исторіи мысли). А вотъ уже съ дальнѣйшимъ согласиться нельзя: „Какъ отвлеченный, самъ по себѣ ничего не значащій знакъ, слово даетъ возможность мыслить не конкретными образами, но отвлеченными знаками, т. е. создаетъ абстрактное мышленіе, сужденіе, наконецъ—сознаніе“ (с. 6-я). Слово ни въ какомъ разѣ не могло быть „ничего не значащимъ знакомъ“: вся исторія мысли (ср. хотя бы небольшіе экскурсы въ эту область въ моихъ „Заговорахъ“) показываетъ, что слово на протяженіи вѣковъ въ міросозерцаніи народовъ является реальнѣйшею вещью: они могутъ застывать, замерзать, ими можно зачаровать человѣка, даже убить и проч., христіанское вѣроученіе держится того же взгляда, да и для современной науки (Потебня) имя и именуемое нераздѣлимы для нашего сознанія вѣдь ничто не дается иначе, какъ черезъ актъ нашего осознанія—черезъ нашу рѣчь о немъ. Не можетъ быть для слова считаться высшей, идеальной фазой развитія отвлеченность, абстрактность: образное и безобразное слово равноправны, и пользуется ими человѣкъ по мѣрѣ надобности, для однихъ цѣлей—познанія и самопознанія, что быстрѣе даетъ въ данный моментъ удовлетворяющій отвѣтъ на насущный, неотложный вопросъ, тѣмъ и пользуется; вѣдь это—позсія и проза въ зародышѣ, неужели же можно сказать вообще, что проза (наука) выше поэзіи (искусства)?! Вѣдь объ этомъ очень ясно сказано у Потебни и въ „Мысль и языкъ“ ¹⁾, на которое ссылается проф. Погодинъ, указывая что „донныѣ образованный лингвистъ долженъ быть хорошо знакомъ съ этимъ замѣчательнымъ сочиненіемъ которое въ Россіи положило начало и научному изученію поэзіи и прозы и изслѣдованіямъ (къ сожалѣнію, столь рѣдкимъ у насъ въ области психологін языка“ (с. 2-я) ¹⁾, и въ доступныхъ его

¹⁾ Кстати, проф. Погодинъ пользуется 2-мъ изд. этой книги, тогда какъ въ 1912 г. уже она вышла въ свѣтъ 3-мъ изданіемъ.

лекціяхъ „Басня, пословица“ и въ „Теоріи словесности“, да и вообще въ любомъ его твореніи—это основа, базисъ, красная нить, коей трудно не замѣтить. Не менѣе опредѣленно и ярко поставлены у Потебни и вопросы о „соціальномъ“ (лучше бы—какъ средствѣ, пути общенія, единенія людей) значеніи языка и „словѣ-рѣчи“ (равномъ,—точнѣе — подобномъ, сужденію — предложенію). „Лишь благодаря общественному инстинкту у человѣка могъ развиться даръ сознательной рѣчи“ (с. 7-я). Не въ инстинктѣ тутъ дѣло: необходимость вызвать въ другомъ пониманіе, зажечь въ немъ схожую мысль, а значить и прійти на помощь (будетъ ли это совмѣстная чисто механическая работа ритмическая, откуда Бюхеромъ выводится начало рѣчи—рабочая пѣсня, или тончайшая философская) и обратно получить таковую заставляла людей надѣлять извѣстные звуковые комплексы однороднымъ содержаніемъ по мѣрѣ средства въ бытѣ, обстановкѣ и т. п. (т. к. въ силу рѣзкой индивидуальности человѣка у него „всякое пониманіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ и не пониманіе“, т. е. пониманіе по—своему). Не ново было для Потебни и ученіе, которое Погодинъ считаетъ дѣломъ „настоящаго времени“, что „языкъ возникъ изъ сложныхъ выраженій, имѣвшихъ значеніе вовсе не одного слова, означающаго предметъ или дѣйствіе, но цѣлаго предложенія“ (с. 7-я). Капитальный трудъ Потебни „Изъ записокъ по русской грамматикѣ“ посвященъ этимъ вопросамъ и ясно говоритъ (чего можно было ожидать и а priori), что расчлененіе первоначальныхъ словъ — предложеній—сужденій, выдѣленіе хотя двухъ основныхъ членовъ—*формъ нашего* предложенія (подлежащаго и сказуемаго, вопроса и отвѣта—не говоря уже о различеніи словъ предметовъ и словъ—дѣйствій) дѣло позднее, потребовавшее огромныхъ усилій ума и анализирующей мысли (особенно если помнить, что рѣчь—слово—вещь, реальный предметъ), лишь крайне медленно устранявшей субстанціи, становившіяся мнимыми,—процессъ, совершающійся въ языкѣ и понынѣ, т. к. на мѣсто ставшихъ мнимыми личная индивидуальность вносила все новыя.

Вся программа труда намѣчается Погодинымъ на с. 8-й такъ: „Особенности духовнаго уклада животнаго, явленія внутренней рѣчи у здороваго и больнаго человѣка, вопросъ объ афазіи и разстройствахъ рѣчи при истеріи, особенности

душевныхъ явленій, въ которыхъ наличность языка придаетъ порядокъ и стройность теченію образовъ (сновидѣніе, экстазъ)... духовная жизнь глухонѣмыхъ, психологія дѣтской рѣчи, особенности рѣчи у дикихъ народовъ, искусственные языки ... „психологія слова“ (слово и образъ, сужденіе, развитіе значенія слова), отношеніе между словомъ и предложениемъ. Такъ подготовивъ отвѣтъ на вопросъ о началѣ человѣч. рѣчи, мы рассмотримъ взгляды старыхъ и новыхъ ученыхъ на этотъ предметъ. При такой постановкѣ проблемы, б. м., удастся избѣжать той произвольности въ рѣшеніи ея, которая вызвала *такое великое разнообразіе точекъ зрѣнія на возникновеніе языка, какъ одного изъ видовъ умственного творчества*“. Вся программа за исключеніемъ, пожалуй, „психологіи слова“ (къ слову сказать, части—наименѣе разработанной и наиболѣе туманной, сбивчиво изложенной), находится внѣ предѣловъ обслѣдованія сущности языка—творческой, обособляющей, индивидуализирующей дѣятельности дѣлающей человѣка человекомъ.

Для большей убѣдительности, что это околица, объѣздъ, пройдемъ кратко вслѣдъ за авторомъ по его пути, а въ заключеніе попытаемся поставить хотя верстовые столбы этого насущнѣйшаго вопроса, дыханіемъ коего исполнены и литература, и искусство, и наука, коимъ открывается путь и въ „горняя“ духа,—въ немъ корни идеализма, основа жизни-радостности.

„Особенности духовнаго склада въ мѣртъ животныхъ“ по сравненію съ человѣческими настолько оказываются—по новѣйшимъ даннымъ зоопсихологіи—такъ велики, что проф. Погодинъ вынужденъ сразу заявить, что „совершенно немыслимымъ является возвращеніе къ старому наивному уподобленію животной душевной жизни человѣческой“ (с. 9-я); что антропоморфизмъ (отожествленіе духовной жизни животныхъ и человѣка), столь ярко выраженный у Брема, Леббока и др., добавлю отъ себя—особенно тонко и соблазнительно у Томпсона) принесъ „только несомнѣнный вредъ развитію ребенка“ (добавлю—и вообще человѣка, подхваченнаго этой мутной волной естествознанія, а такимъ теперь имя „легионъ“) ¹⁾.

¹⁾ Ярко вскрываетъ всю муть этого теченія Рѣдко въ статьѣ „У подножія Африканскаго идола.—Символизмъ, акмеизмъ, эго-футуризмъ“

Проф. Погодинъ, увлеченный „новыми научными изслѣдованіями духовнаго міра животныхъ сдѣлавшими за послѣдніе годы такіе гигантскіе шаги впередъ“ (с. 9-я), отрѣшается какъ будто на нѣкоторое время отъ эволюціонизма шаблоннаго: „Инстинктъ есть непреклонное и врожденное желаніе исполнить рядъ дѣйствій, направленныхъ къ достиженію цѣли, которой обычно дѣйствующее лицо не понимаетъ... Инстинктъ принадлежитъ не отдѣльному животному, а цѣлому виду и представляетъ чрезвычайную устойчивость. Инстинкты животныхъ представляютъ собою признаки для опредѣленія видовъ болѣе надежные, чѣмъ признаки морфологическіе“ (с. 9). Насѣкомыя *Hymenoptera* на островѣ Корсо „не скрещиваются съ сородичами континента *сотни тысячелѣтій*“, что привело даже „къ возникновенію мѣстныхъ видовыхъ варіацій, свойственныхъ только насѣкомымъ Корсо“ инстинкты свои сохранили идентично съ сородичами континента, по крайней мѣрѣ „Фертонъ за шесть лѣтъ своего изслѣдованія не встрѣтилъ ни одного раза, ни одного случая отклоненія отъ характерныхъ особенностей инстинкта“ (с. 10-я). Хотя „не только у вида, но и у одной и той же особи возможны уклоненія отъ шаблона инстинктивной дѣятельности, которыя вытекаютъ, конечно, не изъ сознательнаго отношенія къ дѣйствительности, но изъ различныхъ условій въ жизни животныхъ... Новообразования инстинкта совершались въ цѣлыхъ видахъ, которыя можно расположить въ послѣдовательномъ порядкѣ уклоненія отъ первоначальнаго шаблона. Значить, *элементъ соображенія здѣсь совершенно отсутствовалъ*. Эти новообразования создались путемъ естественнаго подбора, черезъ мелкое накопленіе многочисленныхъ мелкихъ и полезныхъ уклоненій, ибо *мотивы дѣйствій насѣкомыхъ лежатъ не въ психологій, а въ біологій; нѣтъ надобности предполагать у нихъ*

(въ „Рус. Бог.“ за н. г., кн. VI, с. 317-332). Современное искусство выдвинуло культъ случайности. „Идеаломъ отношенія къ міру оказался дикарь, міросозерцаніе котораго наиболѣе случайно“ (с. 324). Отсюда культъ чисто чувственной любви и пресловутый „половой вопросъ“. Слово „альтруизмъ“—мертвое слово; а когда слышатъ слова: этика, мораль,—только укоризненно качаютъ головою по поводу „ветхихъ словъ“ (с. 331). „Въ душахъ образовался какой-то провалъ, очевидно зіяющій. Въсторадостнаго приближенія къ тайнѣ міра... настала какой-то душевный хаосъ“ (ib).

ни наличности ума, ни наблюдательности, ни способности къ размышленію“ (с. 10-я). Инстинктивныя дѣйствія въ обычныхъ условіяхъ жизни животнаго удивительно совершенны (математичность постройки пчелкою ячейки) и удивительной же нелѣпостью, при малѣйшемъ нарушеніи этихъ условій: бѣлка зарываетъ оставшіеся орѣхи въ коверъ, пчела усердно продолжаетъ носить медъ и въ дырявую ячейку, откуда онъ тотчасъ вытекаетъ и т. п. „Учиться инстинктивнымъ дѣйствіямъ нельзя: они оказываются врожденными, и молодая птица иногда лучше вьетъ свое гнѣздо, чѣмъ старая, опытная, но уже утомленная. Съ возрастомъ у одного и того же животнаго инстинкты мѣняются... Эти готовые для даннаго періода жизни „знанія“ въ слѣдующій періодъ смѣняются новыми, тоже готовыми, какъ декораціи театральной сцены“ (с. 11-я). Пчелы находятъ далекій обратный путь „только благодаря чрезвычайно сильной памяти о разъ совершенномъ пути. Стоитъ этотъ путь измѣнить самымъ незначительнымъ образомъ, и улетѣвшее насѣкомое окажется въ самомъ беспомощномъ состояніи“ (с. 11-я). „Отправляясь за медомъ къ уже ранѣ найденному медоносному цвѣтку, насѣкомое летитъ не прямо, а зигзагами, совершая тотъ самый путь, который случайно привелъ его къ добычѣ. Такія же зрительныя впечатлѣнія лежатъ въ основаніи „измѣренія времени“, которое наблюдается у этихъ насѣкомыхъ: въ извѣстное время дня одни появляются въ томъ или другомъ мѣстѣ) опредѣленныя тѣни, связанныя съ часомъ, окраска и освѣщеніе предметовъ. Смѣна этихъ зрительныхъ впечатлѣній, направляя дѣятельность животнаго, замкнутую въ предѣлахъ инстинкта, приводитъ его къ извѣстному „умозаключенію“: надо летѣть, п. ч. солнце высоко, или цвѣтокъ близко, п. ч. осина уже осталась позади. Конечно, *это „умозаключеніе“ насѣкомаго абсолютно не похоже на человеческое и не нуждается въ словахъ: только влеченіе* испытываетъ насѣкомое, летя въ знакомомъ направленіи къ предмету, образъ котораго остался въ его памяти. И такъ будетъ поступать каждая пчела, каждый шмель, обнаруживая этимъ постоянствомъ инстинктивную природу дѣйствія. *Когда же дѣло выходитъ за предѣлы инстинкта, они покажутъ свое неразуміе“* (с. 12-я).— „Постоянная реакція (—инстинктивное пониманіе—) на извѣстныя раздраженія не есть языкъ, тѣмъ бо-

лѣе, что даже защитники к. н. „муравьиного языка“ сводят его къ прикосновенію щупальцевъ или обнюхиванію... Психическая жизнь насѣкомыхъ вообще... есть нѣчто несоизмѣримое нашей психической дѣятельностью, и потому *въ жизни низшихъ животныхъ нельзя найти даже зародышевой нашей способности рѣчи*“ (с. 12-я), такъ „жужжаніе комара или шмеля, гудѣніе майскаго жука точно соотвѣтствуетъ шуму пропеллера на летательной машинѣ“ (с. 13-я). „Гдѣ нѣтъ самосознанія, нѣтъ самага основнаго элемента нашего человѣческаго языка и нашего пѣнія... Одному человѣку свойственно безкорыстное стремленіе проникать въ особенности предметовъ, неутомимо искать отношеній между отдѣльными воспріятіями и дѣлать эти отношенія предметами новыхъ мыслей“ (с. 13-я). Отсюда понятно, что и у высшихъ животныхъ не найти даже подобія (по существу) человѣческой рѣчи: крики и пѣніе птицъ вызываются инстинктомъ самосохраненія или половымъ. Самый развитой изъ „говорильщиковъ“ попугай, мяукающій даже при видѣ кошки и лающій при видѣ собаки, понуждается къ тому лишь неотразимой силой ассоціаціи зрительныхъ и слуховыхъ образовъ. „Языкъ человѣка состоитъ и д. былъ состоятъ уже на первыхъ порахъ своего развитія не изъ однихъ названій, но *изъ сочетанія названій*, и вотъ на это послѣднее попугай ужъ совершенно не способенъ“ (с. 18-я) съ возрастомъ его словарь не разрастается, и слову и звуку онъ подражаетъ съ одинаковымъ удовольствіемъ и главное сразу, безъ ученія (т. е. инстинктивно), какъ утенокъ сразу плыветъ, попавши на воду; крикъ попугая близокъ къ пѣснямъ граммофона; духовная жизнь попугая отъ знанія этихъ словъ ничуть не обогащается, какъ и для насъ ничего не дало бы, при непониманіи роднаго языка, знаніе нѣск. разрозненныхъ словъ на чужомъ языкѣ. Далѣе г. Погодинъ подробно останавливается и на языкѣ музыкальныхъ лошадей и „разумнаго Ганса“, о чемъ у меня рѣчь была выше; упоминаетъ наконецъ объ умѣ слоновъ, и приходитъ къ заключенію, что „животное оказывается не въ состояніи отдѣлитель чувственный міръ (внѣшній міръ) отъ своего сознанія и жить въ мірѣ идей. *Внѣ выученныхъ ассоціацій животное остается совершенно безпомощнымъ (поскольку не отдаетъ опять таки своихъ приказаній инстинктъ)*. Оно оказывается не въ состояніи примѣнить самостоятельно свои при-

обрѣтенныя знанія въ новой области, даже не пытается сдѣлать это, п. ч. цѣль поступковъ, совершаемыхъ имъ вслѣдствіе дрессировки, остается для него неясна, п. ч. животное не мыслитъ, не разсуждаетъ. Безъ языка не существуетъ мышленія“ (с. 21-я) и, добавляю, труда: ни одна лошадь никогда не попыталась отправиться по воду съ бочкой или пахать и, конечно, не потому, что она запрячь себя не умѣетъ, къ этому бы можно ее было приспособить. Приведенные цѣлымъ рядомъ американскихъ ученыхъ опыты (особенно Торндайка) надъ установленіемъ у животныхъ самыхъ простыхъ самостоятельныхъ ассоціаций, испытанія путемъ экспериментальной психологіи животныхъ, ихъ самодѣятельности, показали, что таковыя бывали лишь случайностью. „Научившись открывать клѣтку, положимъ, съ помощью засова, ни одна самая способная обезьяна не устроитъ сама ничего подобнаго, т. е. не приладитъ самой простой задвижки къ двери. *Творчество въ области воспринятаго съ помощью подражанія является способностью только одного человѣка.* Т. о., если бы обезьяна или другое высшее животное научилось подражать звукамъ человеческой рѣчи, даже ассоціровать рядъ словъ съ поступками или зрительными образами (у собаки это нерѣдко), то *все же это не былъ бы даже зародышъ человеческой рѣчи, п. ч. важнѣйшій элементъ ея, самостоятельное творчество, отсутствовалъ бы.* Нельзя представить себѣ попугая, говорящую собаку, скворца, которые попытались бы изъ знакомыхъ имъ словъ или по способу этихъ послѣднихъ образовать фразу или новое слово“ (с. 28—29). Это самая блестящая глава изслѣдованія, т. к. она еще не подошла къ основному *titium*—разысканія происхожденія языка, и я всецѣло присоединяюсь къ основнымъ положеніямъ ея.—Хотѣлось бы только сказать 2—3 слова по поводу антропоморфизма, на который такъ усердно нападаетъ проф. Погодинъ. Вѣдь это неминуемая стадія развитія человѣка, его міропониманія, его языка, его слова: исторія мысли именно и показываетъ, что все пониманіе природы шло черезъ надѣленіе ея человеческими свойствами, дѣйствіями и мыслями; человѣкъ и любой предметъ („моя слюна“ и „я“, „мой слѣдъ“ и „я“, „мой портретъ“ и „я“, „моя тѣнь“ и „я“) являлись двойниками—alter ego человѣка, и лишь большими усиліями мысли водворялось различеніе между ними, постепенное воцареніе

человѣка въ природѣ по мѣрѣ пріобрѣтенія способности къ отвлеченному мышленію, къ созданію понятій. А разъ человѣкъ вновь спускался до своего рода „обожествленія“ природы—какъ въ современномъ естествознаніи—онъ снова долженъ былъ возвращаться и къ этой формѣ міропониманія, антропоморфической, съ тою лишь разницей, что въ пору восхожденія къ ней это былъ научнѣйшій методъ для своего времени, а теперь—это миѳъ: по глубокому опредѣленію Потебни всякая пережитая, прошлая научная теорія переходитъ въ область миѳическаго (обыкновенно, поэтическаго) мышленія для людей, ее уже пережившихъ, надъ нею поднявшихся, оставаясь, конечно, еще долгіе годы научною для умовъ низшаго полета, не воспарившихъ въ эту высь¹⁾; однако эта „высь“ непременно опирается на предыдущую стадію, непременно идетъ черезъ нее, и ее мы должны почитать „сыновнимъ почтеніемъ“ (если не хотимъ уподобляться Хаму), памятуя, что и наша научнѣйшая, современнѣйшая теорія нѣкогда станетъ достояніемъ миѳологіи. Старая истина, что въ искусствѣ все дѣло въ т. наз. „чуть-чуть“, въ искоркѣ таланта, придающей мазкомъ кисти жизнь глазамъ въ портретѣ и т. п. Такъ и въ наукѣ, стоитъ чуть-чуть отойти отъ модной теоріи, (а это очень трудно, великій подвигъ!) и міръ покажется въ иномъ свѣтѣ. Такъ объяснима слава „Біопсихологіи“ проф. Вагнера, считающейся одной изъ самыхъ выдающихся современныхъ книгъ въ своей области не только въ Россіи, но и въ Европѣ. Онъ твердо поставилъ отличительную грань животнаго и человѣка—инстинктъ (одно время въ мути естествознанія даже отвергавшійся совсѣмъ, какъ помѣха предвзятой теоріи переходяемости видовъ) и далъ ему ясное, рѣзкими чертами („шаблонность, безошибочность, ограниченность, совершенство, *безличность* и *безсознательность*“), отграниченіе отъ основъ человѣческой психики. Увлеченный имъ, и проф. Погодинъ круто отрѣзалъ себѣ пути для поисковъ истоковъ чело-вѣческаго языка въ психикѣ животныхъ, заявивъ, что и у *высшихъ животныхъ нѣтъ „даже зародыша чело-вѣческой рѣчи“*.

„*Внутренняя рѣчь*“ является по Погодину существеннымъ отличительнымъ признакомъ человѣка. „Внутренняя рѣчь“ (или мышленіе словами) является существеннѣйшимъ усло-

¹⁾ Ср. „Миѳологическія замѣтки“ Е. Г. Кагарова въ 6—7 кн. „Богословскаго Вѣстника“ за н. г.

вѣемъ въ образованіи рѣчи внѣшней, произносимой. Съ другой же стороны, т. к. пониманіе невозможно безъ сознанія а сознаніе находитъ свое выраженіе въ видѣ мышленія словами, то внутренняя рѣчь необходима для пониманія другихъ... Каждое слово, которое мы услышимъ и повторимъ, проходитъ два пути: отъ внѣшняго міра къ нашей внѣшней рѣчи, отъ этой послѣдней къ внѣшней рѣчи, къ говоренію. Слѣдовательно, если испортится (или отсутствуетъ) одинъ изъ этихъ путей то рѣчь въ человѣческомъ смыслѣ этого слова прекращается, какъ и тогда, когда повреждены самые центры рѣчи. Отсюда ясно, какъ важно остановиться на этомъ *процессѣ претворенія сознанія во внутреннюю рѣчь* (?) (с. 30-я). „Т. наз. *аудитивно-моторный типъ* является первичнымъ типомъ *внутренней рѣчи*. На почвѣ развитого въ естественныхъ условіяхъ жизни зрительнаго воображенія могъ развиваться третій видъ этой послѣдней, наличность котораго несомнѣнна у людей грамотныхъ“ (с. 38 я). — „Зрительная, идеографическая (—когда печатныя напр. буквы представляются разнообразными фигурами, лицами и т. п.), внутренняя рѣчь близка болѣе или менѣе къ идеографич. письменамъ, употребляемымъ нѣкоторыми народами“ (с. 40). Такъ, одна душевно-больная „писала глазами“ и т. о. переписывалась съ жителями отдаленныхъ странъ. „Это болѣзненное развитіе той формы внутренней рѣчи, которую было бы правильнѣе назвать „*внутреннимъ чтеніемъ*“ (с. 40). „Какъ внѣшняя рѣчь устанавливается требованіями взаимнаго общенія, такъ экономія духовной жизни, профессиональныя привычки и т. п. устанавливаютъ болѣе или менѣе сходныя формы и внутренняго языка у взрослыхъ“ (с. 42). Въ дѣтскомъ возрастѣ (—по преимуществу школьнаго возраста) „вербо-визуализмъ“ (словесно-зрительный типъ внутр. рѣчи) оказывается гораздо болѣе распространен. явленіемъ, чѣмъ у взрослыхъ“. (Обыченъ смѣшанный аудитивно-моторно-визуальный типъ...). Тѣмъ не менѣе, преобладаніе воспринимающаго (аудитивнаго) или воспроизводящаго (моторнаго) элемента во внутренней рѣчи замѣчается, конечно, у всѣхъ говорящихъ людей... одни лучше усваиваютъ со словъ... другіе лишь то, что они произнесли про себя, сами прочли, сами рѣшили; третьи, наконецъ, лучше запоминаютъ все написанное. Только считаясь съ различіями *переводчика знаній*,

какимъ является для каждаго говорящаго лица его внутренняя рѣчь, школа окажется въ состояніи правильно оцѣнивать способность учащихся“ (с. 43-я). „Съ помощью воспитанія (—въ музыкѣ—)индивидуумъ, представлявшій первоначально слуховой или зрительный типъ (внутренней музыкальной рѣчи) мѵжетъ постепенно превратиться въ чувствительно-моторный или чисто-моторный типъ“ (с. 45). Словесное представленіе, несомнѣнно, въ нашемъ сознаніи обладаетъ единствомъ, ибо *безъ этого единства* (если бы напр. словесный образъ расчленялся на слуховой и двигательный) *оно и не было бы словомъ человеческой рѣчи. Какъ только возникло это единство, т. е. сознаніе того, что и слышимое слово и понимаемое и произносимое есть одно и тоже слово,—образовался языкъ въ человеческомъ смыслѣ этого слова.* До тѣхъ поръ слышимое слово оставалось для человѣка, какъ для птицы, для собаки, только извѣстнымъ звуковымъ воспріятіемъ, а произносимое имъ „слово“ только безсознательнымъ разряженіемъ энергіи“ (с. 49).

Уже изъ этихъ выдержекъ (за выключеніемъ послѣдней), туманныхъ, преисполненныхъ иностранныхъ, маловразумительныхъ терминовъ и словъ, видно, насколько неотчетливо представлялась автору сущность этого процесса, полагаемаго имъ въ опору начала человѣческой рѣчи и основу цѣлаго ряда слѣдующихъ главъ изслѣдованія.

Проще было бы сказать вмѣсто „внутренняя“ прямо „человѣческая“ въ отличіе отъ животной—гдѣ нѣтъ ея и зародыша,—т. к. терминологія П-на предполагаетъ существованіе двухъ какихъ-то рѣзко-различныхъ рѣчей (межъ тѣмъ слово „думанное“ и произносимое, какъ я уже показалъ выше, различны лишь по силѣ напряженія голосовыхъ связокъ и напряженности органовъ, образующихъ звуковой—шумовой составъ слова). Тогда и всѣ (кстати сказать очень интересныя) сообщенія въ этой главѣ объ отступленіяхъ отъ обычной, нормальной человѣческой рѣчи въ связи съ индивидуальностью говорящаго—мыслящаго, стали бы на свое мѣсто, т. к. обычнаго (напр. своего здоровья, нормальнаго біенія сердца, тиканья часовъ и проч.) мы не замѣчаемъ, не *обращаемъ* на него своего вниманія, не цѣнимъ, а лишь „потерявши, по немъ плачемъ“.

Тогда получаютъ большой смыслъ въ дѣлѣ проникновенія въ сущность языка и *афазія и другія расстройства рѣчи*

(можно не прибавлять „внутренней“ = „человѣческой“, какъ это и дѣлается по чутью языка и самъ П—нъ въ этомъ мѣстѣ: народъ въ живомъ языкѣ всегда понимаетъ это слово „рѣчь“ только какъ атрибутъ человѣка). Это пути нарушенія цѣльной гармоніи, каковымъ является человѣческое слово, подъ вліяніемъ разнообразныхъ заболѣваній. Для современной психіатріи вопросъ объ афазіи (=неговореніи) является въ н. вр. очень острымъ, для языка же это разныя степени потери дара говоренія въ силу ли „разрушенія самихъ центровъ рѣчи“ или „путей между ними и отъ нихъ къ центрамъ слуха и центрамъ мышцъ рѣчи. Въ однихъ случаяхъ сохраняется способность понимать слова при утратѣ способности произвольной рѣчи (двигательная афазія), въ другихъ, напротивъ, больной утрачиваетъ пониманіе чужой рѣчи, способность повторять чужія слова, но не лишень дара произвольной рѣчи (чувствительная афазія), въ третьихъ разрушается путь между слуховымъ и двигат. центрами и возникаетъ „проводниковая“ афазія, утрачивается способность повторять слышимыя слова“ (с. 50-я).

Въ этой главѣ приводится рядъ демонстрацій, какъ угасаетъ психическая жизнь больныхъ афазіей (потеря пониманія, неправильность счета, неумѣнье читать и т. п., наиболѣе поражается память), очень важныхъ и для школы, гдѣ появляется все болѣе и болѣе дефективныхъ психически и нервно (что прежде всего, разумѣется, отражается въ языкѣ и особенно т. н. „правописаніи“ (частный случай— т. н. „аграмматизмъ“ т. е. неразличеніе грамматич. категорій нашей рѣчи)—очень сложномъ ¹⁾ процессѣ, идущемъ легко у совершенно здороваго организма и представляющемъ неодолимыя почти трудности и для ученика и для учителя, раздѣло касается субъекта съ какими-бы ни было расстройствами или неправильностями въ устройствѣ долей мозга, за вѣдующихъ воспріятіемъ и творчествомъ рѣчи). Но все это уже дѣло психіатріи, б. м. экспериментальной педагогической психологіи, и лишь косвенно касается нормального

¹⁾ Да еще и въ психіатріи далеко невыясненнымъ: это нарушеніе связи между словомъ и его образами (гл. обр. графическими) въ силу т. наз. „оптической афазіи“, заключающейся, по Бехтереву, въ нарушеніи связи между обоими центр. зрѣнія и центрамъ словесно-слуховыхъ образовъ“.

строения языка. Важно только, что сущность этих нарушений заключается в томъ, что „слово перестаетъ значить для больного какъ символъ“ (с. 64-я), а причины, если они случайно разыскивались—обычно травматическія поражения черепа, неправильности въ строеніи мозга ¹⁾). Интересны, конечно, и наблюденія надъ постепеннымъ выздоровленіемъ такихъ больныхъ, въ такихъ случаяхъ, гдѣ выясняется норма рѣчи. Таковъ, напр. широко извѣстный въ психіатріи „случай Фойта“ (Фойтъ—молодой человекъ—упалъ съ лѣстницы, проломилъ себѣ черепъ, почти оглохъ и почти ослѣпъ, но моторныя (графическія гл. обр). представленія словъ сохранились и по мѣрѣ выздоровленія занимали господствующее мѣсто проводниковъ въ сознание. „Чтобы найти требуемое слово, онъ обыкновенно тайкомъ производилъ движенія письма руками и ногами. Если руки и ноги ему удерживали, онъ производилъ соотвѣтствующія движенія языкомъ. Если же ему не только удерживали руки и ноги, но и заставляли высунуть языкъ, то онъ не въ состояніи былъ найти слово, обозначающее данный предметъ“ (с. 65)—т. е. приближался къ методу воспріятія рѣчи слѣпоглухонѣмыхъ — осязанію. тогда какъ обычно, нормально люди неграмотные—непремѣнно дѣлаютъ движенія языкомъ тѣхъ звуковъ, изъ которыхъ по слуху состоитъ этотъ рядъ словъ, а грамотные—иногда и воспринятыхъ съ письма и переведенныхъ на слуховыя.—При душевныхъ болѣзняхъ, чѣмъ онѣ глубже, тѣмъ сильнѣе разрушается строеніе рѣчи: появляются синтаксическія и этимологическія ошибки, слова не договариваются и постепенно обращаются въ нечленораздѣльные звуки, т. е. человекъ перестаетъ быть человекомъ, но не дѣлается и животнымъ на самыхъ низшихъ ступеняхъ ²⁾), доходя иногда до полного

¹⁾ Въ послѣднее время къ числу важнѣйшихъ источниковъ психич. и нервныхъ заболѣваной (въ родѣ преждевременнаго слабоумія) присоединилось ученіе о самоотравленіи организма черезъ дисфункцию выдѣленій (см. сдѣлавшую эпоху въ медицинѣ книгу Э. Абдергальдена „Защитные ферменты животнаго организма“).

²⁾ Подобно тому какъ „одичавшее домашнее животное даже вѣками свободы не отождествляется со своимъ дикимъ сородичемъ. Одичавшая кошка никогда не обращается въ дикую кошку... И совершенно понятно, т. к. прирученное, одомашненное животное есть какъ бы разновидность дикаго, нерѣдко даже пережившая тотъ угасшій стволъ, отъ котораго она

молчанія, а порою создавая свой языкъ съ сильной эмоциональной окраской словъ. (Напрасно только проф. Погодинъ относитъ въ этотъ разрядъ упадочниковъ и состоянія экстаза,—этой б. м. иногда высшей ступени рѣчи и духа, хотя и заявляетъ, что „для особенныхъ переживаній нуженъ и особенный языкъ“ (с. 74)—напр. для поэта лирика, гдѣ онъ долженъ быть близокъ къ грани музыки, а потому порою б. м. уходитъ сознательно отъ обычнаго строенія рѣчи; вспомнимъ напумѣвшее когда-то фетовское „Шопоть, робкое дыханье, трели соловья“..., которое извѣстнымъ рядомъ критиковъ считалось за безсмыслицу). Напрасно также вносить сюда и совершенно особый, весьма сложный вопросъ о потерѣ дара рѣчи на одномъ изъ языковъ лицами, говорившими на 2 или нѣсколькихъ (классическій примѣръ—Тютчева, послѣ удара переставшаго до конца жизни владѣть русскою рѣчью, но сохранившаго вполнѣ здоровой психику и рѣчь на франц. языкѣ) соприкасающіеся съ вопросами (опять таки в. неразработанными) о т. наз. „раздѣленіи сознаний“, о раздвоеніи личности“. Напрасно также тѣсно связывается идиотизмъ со склонностью къ стихамъ, риѣмъ и ритму, тѣмъ болѣе что до сихъ поръ „не удалось еще ни установить точныя и практически пригодныя подраздѣленія между различными ступенями отсталости, ни отдѣлить отсталого отъ нормальнаго, ни даже опредѣлить истинную природу умственной слабости, которая характеризуетъ отсталого“ (цитата изъ Бине и Симона, приводимая Погодинымъ на с. 85); а еще важнѣе—отдѣлить генія и помѣшаннаго, а, значитъ, раздѣлить формы мышленія—языка пониженныя отъ возносящихся въ недосыгаемую (а потому для обычнаго ума—ненормальную) *высь*. „Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь“ представляютъ, пожалуй, болѣе интересъ для изученія и установленія нормъ языка, но эта жизнь, къ сожалѣнію, еще очень мало изучена. Глухонѣмой, „м. руководиться въ своей жизни только зрительными образами, приближаясь т. о. къ состоянію идиотизма¹⁾, какъ духовной

нѣкогда отщепилась. Оличаніе же влечетъ за собою дальнѣйшую эволюцію типа, но не возвратъ къ первонач. формамъ“ (Павловъ „Какъ человекъ приручилъ жив.“ Пр. и Л. 1913 № 35, с. 546.

¹⁾ Я бы только добавилъ „кажущагося“, т. к. мои многолѣтнія наблюденія надъ жизнью глухонѣмыхъ показали, что и эти дѣти различны

жизни безъ языка. Совершенно измѣняется картина, когда глухонѣмой пріобрѣтаетъ способность говорить или писать. Тогда у него м. возникнуть двигательная или же зрительная (графическая, двигательно-графическая) внутренняя рѣчь и духовная жизнь его сразу (?—очень медленно и постепенно по моимъ наблюденіямъ) обогащается всѣми тѣми средствами отвлеченнаго мышленія, какими обладаютъ нормальные люди“ (с. 91-я). Приближаются къ нормальному уровню средняго человѣка глухонѣмые, къ сожалѣнію, лишь въ исключительныхъ случаяхъ,—особенно одаренные, что и д. б. по идеѣ: вѣдь они для пониманія окружающихъ обладаютъ крайне ограниченными средствами (въ темнотѣ, съ людьми, сильно обросшими волосами или вообще неотчетливо артикулирующими--они совсѣмъ не могутъ сообщаться; не говорю ужъ о „пониманіи по-своему“ и воспріятаго ¹⁾, не говорю и о всѣхъ свойствахъ рѣчи, приносимыхъ слухомъ и т. п.), да и языкъ обычный, родной для окружающихъ воспріятыи путемъ грамоты), для нихъ является иностраннымъ, чужимъ хотя и отлично какъ бы изученнымъ. Проф. Погодинъ приводитъ характерный отвѣтъ одного глухонѣмого на вопросъ: „Когда вы видите сонъ, грезите ли вы при этомъ о разговорѣ и на какомъ языкѣ ведутся разговоры?—На обоихъ: на своемъ (т. е. языкѣ жестовъ) и на устномъ (с. 92). При „слышаніи“ глухонѣмыми словъ они вмѣсто звуковъ воспринимаютъ „только воздухъ—воздушный потокъ“ (ib.). При мышленіи г—ой чувствуетъ, „что пальцы движутся, хотя они лежатъ спокойно. Я вижу внутренне картину, которая получается движеніемъ пальцевъ“ (ib.), поэтому глухонѣмые въ рисованіи превосходятъ нормальныхъ сверстниковъ. „Мимическіе жесты иногда соответствуютъ цѣлой фразѣ... Поэтому и мыслить легче въ мимической формѣ... Во снѣ люди завѣдомо не умѣющіе изъясняться ни мимикой, ни пальцами, вдругъ свободно со мною разговариваютъ“ (с. 99-я). Языкомъ, пріобрѣтеннымъ въ шко-

въ развитіи и до обученія грамотѣ (они объясняются знаками) и иногда отличаются большой смысленостью.

¹⁾ Эту черту—особности и трудности воспріятія рѣчи даже нормальными людьми—подмѣтила уже и техническая наука: новѣйшіе телескопы уже съ микрофонами и для носа, т. к. слова съ носов. звуками особенно плохо воспринимаются.

лѣ, глухонѣмые *между собою* при встрѣчѣ никогда не пользуются, какъ чужимъ, иностраннымъ, труднымъ.

Слѣпые все постигаютъ осязаніемъ, чего никакъ услышать (точнѣе—перевести на языкъ слуха) нельзя, потому, въ противоположность глухонѣмымъ“ слѣпой имѣеть склонность къ мышленію безъ образовъ; всякое слово, за исключеніемъ развѣ названій предметовъ, съ коими легко связываются осязательные образы (мыло, ножъ и проч.) является для слѣплого прежде всего звуковымъ образомъ. Слова „зеленый, яркій“ и т. п. имѣють для слѣплого такой же отвлеченный характеръ, какъ и слова „вѣчность, истина“ и пр. (с. 100-я).

„Та работа, которую зрячіи совершаетъ, окинувъ взоромъ комнату, продѣлывается слѣпымъ съ помощью мышленія. Порядокъ расположенія предметовъ въ комнатѣ является для него конструированнымъ отвлеченнымъ понятіемъ, которому м. соответствовать, вѣроятно, только извѣстныя осязательныя представленія“ (с. 101-я), гл. обр. основанныя на числовыхъ отношеніяхъ (на числѣ, напр. шаговъ). Эти недочеты психики восполняются тонкостью слуха, позволяющей создать т. наз. „слуховой пейзажъ“ на основаніи цѣлой массы чертъ замѣтныхъ для нормальнаго человѣка, легкихъ нѣжныхъ звуковъ природы вродѣ шороха, тренія насѣкомыхъ въ травѣ, „и дольней лозы прозябанья“ (на высотахъ духа); шумъ дверей и оконъ видоизмѣняется въ городѣ до безконечности; вотъ этимъ ориентирруется слѣпой, совершая путь по многочисленнымъ улицамъ города.

Далеко опережаютъ они нормальныхъ людей въ способности наблюдать и изучать самыя тонкія измѣненія, оттѣнки, голоса, интонаціи, музык. тембры и по нимъ различать добраго или жестокаго человѣка, умнаго и глупаго и т. д. Вѣдь и нормальные люди руководствуются при познаниі чувствъ другихъ людей слухомъ по преимуществу, т. к. выраженіе лица мы умѣемъ „сдѣлать“, но фальшивая интонація тотчасъ выдаетъ „притворщика“; по „голосу“ мы узнаемъ человѣка, съ которымъ очень давно не видались, наружность коего перемѣнилась до неузнаваемости. Слѣпымъ эти пути различенія открыты въ совершеннѣйшей предѣ ними степени и слуховой образъ (звукъ, шумъ,—издаваемый предметомъ) связывается съ самымъ предметомъ въ неразрывную ассоціацію, создающую привычку и всюду такъ поступать,

т. е. символически уже связывать съ предметомъ, даже не издающимъ совсѣмъ звука (отвлеченное понятие), извѣстный звуковой комплексъ-слово. Подробно этотъ вопросъ разсматривается далѣе у П—а при передачѣ исторіи развитія многонашумѣвшихъ въ научной литературѣ и въ обществѣ слѣпоглухонѣмыхъ Елены Келлеръ и Лауры Бриджменъ, которыя довели до высшей степени развитія единственное оставшееся въ ихъ распоряженіи чувство для воспріятія міра—осязаніе.

„На первыхъ урокахъ она (Лаура) подобно ученой собакѣ, терпѣливо подражала тому, что дѣлалъ учитель, теперь (—когда Лаура поняла, что буквенные знаки на бумажкѣ и на предметѣ тождественны и именно и обозначаютъ этотъ предметъ) пачалъ дѣйствовать ея разумъ. Она оказалась въ состояніи понять, что здѣсь было найдено средство выразить все то, что происходило въ ея душѣ, и сообщить объ этомъ другой душѣ, и ея лицо сразу приняло по истинѣ человѣческое выраженіе ¹⁾. Теперь это уже была не собака и не попугай; это былъ бессмертный духъ, который жадно хватался за связь, соединяющую его съ другими духами“ (с. 107-я).

„Лаура, научившись употреблять слова для обозначенія качествъ, приобрѣла способность къ отвлеченному мышленію, которая выразилась въ сужденіи: „Лаура печальна“ (с. 108-я).

„Имена прилагательныя казались ей первоначально лишь другимъ именемъ предмета: „большая книга“ представляла собою какъ бы два имени одного и того же предмета и Лаура спрашивала: какое еще есть другое имя у стульевъ, столовъ и т. д. (с. 112). И дѣйствительно—это рѣзкая грань въ исторіи развитія мысли: человѣчество, какъ показали Потебня въ своихъ великихъ твореніяхъ, затратило огромнѣйшія усилія въ теченіе вѣковъ на выдѣленіе качества отъ предмета, и эта категорія мысли поздня по времени.

Одна сторона только у Лауры, какъ и всякой слѣпоглухонѣмой, осталась въ зачаточномъ состояніи—фантазія, вообра-

¹⁾ Мои наблюденія надъ глухонѣмыми въ моментъ полученія или сознанія тождества нарисованнаго (жука, напр.) съ „рисункомъ“ буквами и съ живымъ жукомъ устанавливаетъ озареніе лица необычнымъ свѣтомъ радости.

женіе (даже во снѣ ограниченное крайне узкими рамками). По мѣрѣ развитія, въ Лаурѣ все нарастала потребность изливать свою душу въ звукахъ - шумахъ, сначала слабыхъ и пріятныхъ для слуха, далѣе—громкихъ и непріятныхъ; когда она поняла, что эти звуки привлекаютъ къ ней вниманіе другихъ, она стала пользоваться ими цѣлесообразно: звать ими къ себѣ, а еще позже она стала думать и нѣкоторыми изъ своихъ звуковъ, которыя связались у нея съ опредѣленными чувствами. *Это было уже настоящее творчество человеческой рѣчи, какое создало и вообще человеческій языкъ и создаетъ у каждаго начинающаго говорить человѣка (младенца) свой словарь звуковъ для выраженія своихъ чувствъ* (с. 110-я). Среди ея первоначальныхъ звуковъ особенно выдавался рѣзкостью звукъ гнѣва, вой, котораго она умышленно внѣ этого эмоціональнаго состоянія воспроизвести не могла. Впослѣдствіи Лаура „придумала до 60 звуковъ, которыми и называла различныхъ людей„ (с. 110-я), и такъ явственно—отлично одинъ отъ другого, что напр. „каждая изъ 12 слѣпыхъ дѣвочекъ (—съ которыми Лаура находилась въ частомъ общеніи), услышавъ звукъ, могла сказать, за кого ее принимаетъ Лаура“ (с. 111-я). При этомъ звуки эти (вродѣ foo-foo-foo или too-too-too, ріу-ріу-ріу, ра-ра-ра) конечно, не являлись звукоподражательными (ономатопеическими). И еще одно существенное замѣчаніе: звуками Лаура думала и говорила лишь о людяхъ и съ людьми, которыхъ она очень любила (въ высшихъ стадіяхъ души), а имена безразличныхъ она складывала на пальцахъ. Лишь значительно „позже, когда эти звуки вслѣдствіе частаго употребленія ассоціировались все тѣснѣе съ представленіемъ объ известномъ лицѣ, постепенно утратилась ихъ эмоціональная окраска, и они сдѣлались настоящими именами“ (с. 111-я).—Исторія развитія Лауры показываетъ, конечно, не эволюціонный путь созданія языка, а необходимость признать и въ „типахъ убыванія“ (въ ихъ динамикѣ), что „никакое паденіе личности не есть послѣднее паденіе“ (Достоевскій). т. е. что „образъ и подобіе“ Творца присущи и этимъ стадіямъ человѣка, въ отличіе отъ иначе сотвореннаго Имъ животнаго міра; что эти высшіе дары м. б. усилями любви ближняго вызваны къ жизни, какъ бы они ни казались умершими (подобно тому какъ зерно за тысячелѣтія пребы-

ванія въ пирамидахъ не потеряло своей жизнеспособности— прорастанія).

„Мимика и жестъ“—способы возбудить въ другомъ вниманіе и пониманіе въ ту пору, когда слово еще не заняло царственного своего положенія—,являются очень видными агентами при выработкѣ взаимоотношеній людскихъ. Но иногда этотъ „языкъ“ является какъ искусственный, иногда въ силу запрещенія говорить словами (напр. вдовамъ по смерти мужа въ теченіе 12 мѣсяцевъ), во время охоты и т. п. Однако во всѣхъ разновидностяхъ этого языка „постоянной внутр. связи между символомъ—жестомъ и предметомъ нѣтъ (с. 118), значить это не человѣческій языкъ, а несовершенный его суррогатъ, лишь черезъ слово могущій получить метафорическое символическое значеніе („наставить рога“—символь невѣрности и проч.). „Разобщеніе жеста и звука въ различныя категоріи выраженія произошло у нормальн. человѣка постепенно... Звукъ превратился въ слово, а жестъ отступилъ на заднее мѣсто“ (с. 121-я).

Та же участь и мимика, но она ближе къ инстинктивности, произвольности, потому почти совершенно лишена условности, символичности и потому не м. б. сознательнымъ средствомъ общенія между людьми. (Основа ея—вкусовыя ощущенія; вообще связь ея съ эмоціями очень тѣсна и потому языкомъ она не м. б.: „немыслима мимика справедливости, божества или дерева, поѣзда, собаки, тогда какъ условными жестами возможно передать эти понятія“ (с. 125-я).

„Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ, хотя и весьма важна, но и в. различна; поэтому, какъ я выше замѣтилъ, соединять ихъ въ этой странной смѣси нераціонально. Буддійская сутта и „христіанскій мистицизмъ“ даютъ совпаденіе двухъ картинъ экстатическаго подъема, созданныхъ на разстояніи тысячелѣтій и десятка тысячъ верстъ одна отъ другой, основанное на многочисленныхъ личныхъ опытахъ экстатиковъ, и имѣютъ значеніе важнаго психологич. документа (с. 127-я). Это ступени восхожденія къ единенію съ божествомъ“... „какъ будто двѣ жизни сразу: одна изъ нихъ цѣликомъ превращается въ союзъ съ Богомъ, другая похожа на обыкновенную матеріальную жизнь этого міра“ (ів.). „Постепенное, намѣренное вычеркиваніе изъ своего сознанія всего того, что принадлежитъ къ жизни

нормальной, мірской, составляетъ путь къ достиженію того сосредоточенія сознанія на одной идеѣ, которое понимается какъ сліяніе съ божествомъ... требующее со стороны человѣка отказа отъ своей воли“ (с. 127-я) („Да будетъ воля Твоя“ — и вся суть христіанства крестныя страданія Христа — въ этомъ) ¹⁾. — „Итакъ, передъ нами какая-то особая форма познанія, не нуждающаяся въ мышленіи словами, но раскрывающаяся съ помощью спеціальнаго мистическаго метода (с. 128). „Для „высшаго познанія“... все то человѣческое познаніе, которое выражается въ словахъ и сужденіяхъ, имѣетъ своимъ объектомъ внѣшній и внутр. міръ и обогащаетъ человѣческій интеллектъ, оказывается чѣмъ-то постороннимъ“ (с. 130); здѣсь работаетъ языкъ сердца, наводящій „молчаніе рта, мысли и разума“.

„Въ экстазѣ св. Тереза узнавала въ одно мгновеніе такое множество замѣчат. вещей, что въ обычномъ состояніи она не могла бы при всѣхъ своихъ успіяхъ представить себѣ и въ нѣсколько лѣтъ одной тысячной“ (с. 131). — (Ср. тоже ускоренное переживаніе напр. у альпинистовъ, срывавшихся съ высоты въ бездну и въ моментъ этого пролета переживавшихъ мысленно чуть не всю жизнь). На высшихъ ступеняхъ экстаза религіознаго человѣкъ находится въ „особомъ настроеніи спокойствія и неподвижности“ (с. 131); „душа внимаешь божественнымъ словамъ“ (с. 132).

Это особая область духа надъ которой не заносится рука проф. Погодина; онъ только замѣчаетъ, что въ этомъ состояніи „общеніе съ себѣ подобнымъ становится немислимымъ“ (с. 132), я бы только сказалъ вмѣсто себѣ подобнымъ — съ нормальными, обыкновенными людьми.

Все приравненіе экстаза къ безумію (для котораго есть терминъ „одержимость“) сопровождающемуся буйствомъ, криками, неустанной болтовней, уходитъ въ низы этой формы духа „угасающаго“, который и церковью осуждается, считается чуждымъ, далекимъ отъ нея. Богатый, сюда относящій матеріалъ, собранный въ книгѣ Коновалова „Ре-

¹⁾ Тогда какъ молитва, выросшая на почвѣ аморализма и индивидуализма — анархизма, когда эти стадіи перерастаютъ когда является потребность въ молитвѣ, выливается въ форму: „Отче, во вѣки да будутъ елины воля Твоя и Моя“ (*Ръдько*), *Op. cit.*, с. 332.

лигіозный экстазь въ русскомъ мистическомъ сектанствѣ“. надѣлавшей въ свое время много шума и въ духовной и въ свѣтской печати, широко использованъ здѣсь Погодинымъ. Но это болѣзненные явленія, упадочныя, вызванныя лишь религіозными „недомоганіями“, безсиліемъ отчаянія проникнуть въ эту высь, острое горе о невозможности вернуться въ „рай“ и проч. Это болѣзненные явленія, а таковыя м. возникать на любой почвѣ. И въ этой области, конечно, можно кое-что почерпнуть для пониманія существа языка; это своего рода лабораторіи, гдѣ препарируются разлагающимся духомъ тѣ или иные элементы крайне сложнаго и могучаго орудія — языка; здѣсь можно насмотрѣться подольше на нѣкоторыя обнаженныя его части приблизительно тѣ же, что были уже отмѣчены выше въ наблюденіяхъ надъ сочиняемыми языками. „Къ такимъ же низшимъ состояніямъ человѣческой жизни переносить насъ и сновидѣніе нормальнаго человѣка“ (с. 136); здѣсь „интеллектъ подчиняется пассивно той вереницѣ образовъ, которая проносится передъ нимъ, соединяясь между собою случайными ассоціаціями. Здѣсь нѣтъ мысли и нѣтъ сужденія“ (с. 146).

„*Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей*“.— „Изученіе дѣтской психологіи переносить насъ до извѣстной степени въ минувшія эпохи жизни современнаго культурнаго человѣчества, позволяя заглянуть въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ его очень отдаленное прошлое“ (с. 147). „Основное различіе между культурнымъ ребенкомъ и некульт. взрослымъ человекомъ въ томъ, что ребенокъ желаетъ знать, стремится сдѣлаться большимъ“ (с. 150-я). На мой взглядъ, гораздо существеннѣе сходство и различіе ихъ во взглядахъ на природу, на міръ, какъ на живое существо, какъ на субъектъ (а не объектъ). Въ цѣломъ рядъ страницъ излагаются состоянія ребенка въ до-рѣчевомъ періодѣ и въ періодѣ лепетанья, каковыя, конечно, къ творчеству языка имѣеть в. отдаленное отношеніе (чтобы не сказать больше).

„Т. о. никакихъ особенностей психической жизни, которыя бы служили предварит. ступенью къ развитію человѣческой рѣчи у новорожденнаго младенца не наблюдается, въ такой же мѣрѣ, какъ и у новорожд. животнаго“ (с. 156).

Отличіе идетъ быстрыми шагами съ той поры, какъ ребенокъ началъ понимать рѣчь окружающихъ, такъ что къ

двумъ годамъ ребенокъ становится уже маленькимъ человѣкомъ“ (с. 159), но съ преобладаніемъ аффективности, отодвигающей назадъ логическій элементъ—„Ребенокъ въ три года съ трудомъ распознаетъ на картинѣ предметы и называніе самыхъ обыкновенныхъ вещей оказывается для него своего рода умственнымъ подвигомъ... Съ этой поры, повидимому, и возникаетъ активная умственная дѣятельность у ребенка, и языкъ его пріобрѣтаетъ для своего развитія необход. психол. основанія“ (с. 164), во главѣ коихъ лежитъ страхъ, „необходимый прежде всего потому, что онъ пригвождаетъ вниманіе и воспитываетъ способность сосредоточиться... Одно изъ главныхъ побужденій къ познанію и наукѣ заключается въ преодолѣніи страха, и многія вещи, которыя теперь намъ особенно близки, прежде казались особенно страшными. Сознаніе, что извѣстный страхъ уже не владѣетъ нами, но что мы владѣемъ имъ, доставляетъ намъ счастливое чувство своей силы. Даже любовь м. возникать изъ нѣкоторой боязливости“ (с. 164).

Отличіе мышленія дѣтей и взрослыхъ въ томъ, что у первыхъ „индивидуальныя представленія встрѣчаются гораздо чаще... представленія не о предметѣ вообще, но объ опредѣленномъ предметѣ (именно этой розѣ, такой-то собакѣ)“ (с. 170). Увѣряю, что если мы взрослые, люди науки даже, призадумаемся на минуту надъ нашими якобы отвлеченными словами вродѣ напр. „домъ“, „дерево“ и т. п. и подѣлимся плодами своихъ наблюденій, то увидимъ, что у однихъ „домъ“ будетъ все-таки, хотя и въ мутномъ образѣ, но подъ зеленой крышей или соломенной, деревянный, каменный и т. п. въ зависимости отъ времени и обстоятельствъ сложенія нашего „отвлеченія“; дерево—для уроженца сѣвера съ образами во флерѣ березы для одной полосы, сосны—для другой и съ полнымъ отсутствіемъ признаковъ березы, скажемъ, для жителей Крыма. Эта образная сторона слова, заглушенная прозою жизни, нуждою спѣшить и комкать мысль, у обыденнымъ человѣка, у дѣтей, *болѣе одаренныхъ*, въ возрастѣ 6—13 лѣтъ занимаетъ преобладающее мѣсто, какъ у болѣе одаренныхъ взрослыхъ—поэтовъ, художниковъ и, къ удивленію, даже у наиболѣе высоко одаренныхъ людей науки.—Любовь дѣтей къ рисованію (но отнюдь не к.-л. незначущихъ—геометрическихъ или декоративныхъ—фигуръ, коихъ дѣти *sua sponte* никогда

не рисуютъ) плодъ „стремленія къ завоеванію съ помощью своихъ чувствъ внѣшняго міра, которое заставляетъ его въ ту же пору безъ устали называть предметы“.

Несомнѣнно, мы видимъ здѣсь творческій процессъ, который заключается въ созданіи міра дѣйствительности изъ разрозненныхъ образовъ предметовъ, для чего, очевидно, необходимо ихъ осмысленіе съ помощью слова или рисунка, создающаго связь представленія объ этомъ (опредѣленномъ) предметѣ съ другими предметами. Такъ создаются ассоціаціи сначала случайныя и неустойчивыя, потомъ все крѣпче залегающія въ сознаніи, какъ основы міросозерцанія“ (с. 172). А что особенно важно и характерно для опредѣленія сущности творенія языка, такъ это стремленіе изображать на рисункѣ (съ нашей точки—схематическомъ) лишь наиболѣе характерныя, сразу бросающіяся въ глаза, черты: въ рисункѣ, представляющемъ человѣка—на первомъ планѣ голова въ видѣ кружка съ двумя точками по краямъ и черточкой посрединѣ (=глаза и ротъ) иногда даже безъ этой послѣдней. И эти признаки совпадаютъ съ тѣми, по которымъ создано было слово („знакъ значенія“ коего—т. н. этимологія его—еще не затерялась); такъ напр. въ рисункахъ дѣтей, изображающихъ домъ, важнѣе всего струйка дыма, труба, и слово „домъ“, по скольку сохранили намъ изслѣдованія исторіи языка во всей индо-европ. семьѣ восходитъ къ означенію „дымъ“ (dhumas, fumée, dampfen; брали по кунитѣ отъ „дыма“ и проч.). Таково ученіе и Потемни, что слово создавалось по способу называнія (б. м. выкрикиванія) первой характерной черты (звука, вѣроятно, или, же движенія, сопровождавшаго звукомъ, производимаго даннымъ существомъ въ широкомъ смыслѣ; въ ту пору и предметъ „неодушевленный“, и явленіе, и процессъ—съ нашей точки зрѣнія—все было надѣлено человѣкоподобною жизнью), поразившей вниманіе человѣка. Исторія умиранія и оживанія образности слова въ языкѣ ясно это вскрыла. Къ этому подошла съ разныхъ сторонъ и соврем. наука, если она не задавалась извѣстной тенденціей, не была слишкомъ „правовѣрной“ въ своихъ теоріяхъ (Ср. объ этомъ у Погодина с. 173—5 и др., гдѣ этотъ прямой мыслительный процессъ дѣтскаго творчества въ пониманіи окружающаго названъ неправильно „метафорами“: это перенесеніе именно нашего состоянія пониманія на мѣсто дѣтскаго. Вѣдь и самъ Погодинъ гово-

рѣчь: „Подражаніе (—я бы сказалъ скорѣе „отвѣтная духовная волна, *свое* пониманіе“—) развивается медленно и оказывается дѣятельной силой лишь тогда, когда со стороны самаго духовнаго организма идетъ встрѣчная волна, когда воспроизведенныя подражаніемъ дѣйствія ложатся на подготовленную почву“—с. 182). Съ помощью языка человѣкъ опредѣляетъ свою особность, свою личность; такъ оно должно быть и въ жизни ребенка. Поэтому изъ многочисленныхъ сужденій по этому вопросу, приводимыхъ проф. Погодинымъ, на мой взглядъ выдаются замѣчанія проф. Софійскаго ун.—та Георгова, предполагающаго въ основѣ саморазвитія ребенка „взаимодѣйствіе двухъ психическихъ явленій“: собственнаго смутнаго представленія ребенка объ его отдѣльности, какъ физическаго тѣла; и почерпаемаго имъ въ заимствованномъ изъ внѣшней среды языка указанія на я, какъ субъекта рѣчи“ (с. 184). Къ сожалѣнію, проф. Погодинъ быстро соскакиваетъ съ пути языковаго изслѣдованія этихъ процессовъ вызрѣванія дѣтской души, ея языка—рѣчи, и все становится на почву экспериментальной психологіи. Межъ тѣмъ отдѣльные выводы, установленные на первомъ пути, бросаютъ пучки свѣта во все стороны. Такъ напр. длинныя разсужденія и обслѣдованія, что раньше явилось въ дѣтской рѣчи—существительное или глаголь, что важнѣе для него и т. п., разрѣшаются простымъ наблюденіемъ надъ составомъ языка взрослыхъ въ любомъ художественномъ произведеніи (баснѣ, стихотвореніи), гдѣ существительныя сильно преобладаютъ (въ одинаковой пропорціи—у взрослыхъ и дѣтей) надъ остальными частями рѣчи особенно надъ глаголами, которыя по даннымъ языкознанія и д. б. явиться въ языкѣ въ очень позднюю пору въ связи съ развит. мышленія, выдѣлившаго наконецъ силу отъ матеріи. То же въ особенности можно сказать и о строеніи (синтаксисѣ) дѣтской рѣчи, самомъ сложномъ, но и самомъ важномъ въ дѣлѣ изученія творчества языка, почти совсѣмъ оставляемомъ въ сторонѣ проф. Погодинымъ. Необходимо помнить общее положеніе, которое укрѣплено и эксперимент. изслѣдованіями, что пониманіе предшествуетъ говоренію (что ясно для всякаго говорящаго—и переводящаго при этомъ—на иностранномъ языкѣ: „языкъ не послѣдуетъ за рѣчью, мыслью“). Роль предложенія на первыхъ порахъ у ребенка играетъ сочетаніе двухъ-трехъ словъ безъ всякой видимой

грамматической связи, выражающее чаще всего желаніе—требованіе или вопросъ; смыслъ имъ придается интонаціей, иногда жестомъ (богатый сырой матеріалъ для этого разбросанъ у Погодина на с. 201—205, 207—9). Таковымъ долгое время было и строеніе предложенія взрослога человѣчества, лишь очень долгими усиліями добившагося подчиненія въ паратактическихъ сочетаніяхъ словъ—предложеній.

Эта глава тоже одна изъ сильныхъ по богатству и разнообразію матеріала, къ сожалѣнію, нѣсколько разрозненнаго, разбросаннаго и пополняемаго, иногда повторными, данными въ слѣдующей.

А. Ветуховъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
